

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях.

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020).

Живет в Санкт-Петербурге.

СОВИНАЯ ТРОПА

Фрагмент романа

1. Профессор прелестей

Говоря попросту, я человек обмирщённый – в том смысле, что не адорант, не праведник, – поэтому понимаю, и опыт мой о том свидетельствует, что мы, люди, – это то, что думают о нас другие. Что думают и как думают. Да, и как – как думают, какие переживают чувства, это существенно. Печаль, зависть, тихая радость, разочарование, брезгливая неприязнь – эти тона, эта эмоциональная окраска мыслей о нас порой красноречивей мыслей собственно. Ведь мысли изменчивы и туманны. А чувства – вещь обнажённая и чёткая. Захочешь утаить – поди попробуй.

Особенно наглядно это (что мы – то, что думают о нас) становится после смерти. За гробом. Не для умерших, а для пока ещё живущих. Недавно на поминках Овсянкина сказали так много и с таким надрывом, что впору скорбеть – какой исполин духа, букет каких дарований, доблестей и ума рассыпался и нас оставил. Не абы кто – эталон современника, не меньше. А что на самом деле? А на самом деле – пузырь земли и только. Благо что при своём деле – хозяин заведения, где для знакомых доступна выпивка в кредит. «Там, где на русских небесах сияла его звезда, теперь дыра зияет, из которой сквозит космический мороз...» Так сказал один из поминающих: и заткнуть, мол, эту дыру некем, никого нет покойному равномасштабного. Готовился, должно быть, прежде чем сказать, – чтобы другие не только о покойном хорошо подумали, но и о нём, про звезду и дыру сообщившем.

За собой, конечно, тоже замечаю, как важно для меня, вопреки латинской заповеди, не быть, а казаться. Чтобы все знали, какая перед ними птица. Сделал чепуховину – так пусть будет на виду, пусть всякий понимает, какой мною свершён изысканный пустяк, какой изящный заверчен завиток. А если вдруг интрижка – так и её зачем таить? Пускай дивятся на удальство. Скрывать? Разве что от жены (если есть) и от её, жены, родни – это милосердно. А так – с какого перепугу?

Задумался сейчас, что, верно, тороплюсь, не объясняю должным образом мотивировки – поэтому, возможно, есть ко мне вопросы. Туманны побуждения? Тогда пример из русской сказки. Вот колобок. Он, озорник, и от бабушки ушёл, и от стряпухи-бабушки – со свистом да с припевкой. От зайца ушёл и от волка ушёл. И от медведя ему не хитро уйти. И непременно с песенкой. А что в ней, собственно, такого? Зачем она, казалось бы? А вот нужна! Нужна и всё там неспроста. Там каждое «ушёл» – манифестация его, колобка, сладчайшей самости, гимн, так сказать, ликующего бытия: я есть! Если подумать: ушёл, и слава богу. Раз такой ловкач, тихо сиди, как мышь под веником, – подольше проживёшь. Но всё как раз наоборот: желание поведать миру о себе неодолимо. О том, как ты ушёл, как хитроумен был и вон куда сумел в этом сумрачном лесу добраться. И он, колобок, вновь и вновь без устали вещает, и раз за разом достраивает свою историю, продолжает – ведь он, такой румяный, такой душистый и желанный, ушёл не только от бабушки и бабушки, но и от зайца, и от волка... А в действительности рассказ его о том, что он от опасности ушёл, от погони, от клацающих позади зубов, оказавшись сноровистой и удачно воспользовавшись собственной недооценённостью. И ему внимают, удостоверяя тем самым его существование. Потому что если ты не ушёл от бабушки или от бабушки – тебя нет. И если ты ушёл, но никто не знает об этом – тебя тоже нет. А если ты хочешь *быть* – ты должен непременно уйти и миру об этом поведать.

Когда говорю «*быть*» – речь, конечно, не о бессмертии души, но о долговременности памяти. Памяти о тебе. О, так сказать, консервации этой памяти. Потому что есть путь благочестия, ведущий к праведности и спасению, а есть вот этот – путь колобка с его историей, которая, если она твоя или о тебе, способна при удачном стечении обстоятельств тебя увековечить. Опустим печальный финал этой хвастливой выпечки, его никому не избежать.

Однако тот, о ком пойдёт речь – исключение. В отличие от колобка и легиона его, колобка, последователей он исповедовал иное правило: лучше дела без слов, чем слова без дел. Поэтому он – не то. Совсем не то, что о нём думают. Да и обмирщённым его назвать никак нельзя – разве что в смысле мирского подвижничества, мирской заковыристой святости. Он, что ли, олицетворял особую форму юродства – засланец неба в юдоли скорбей. Как жук-навозник, он смиренно работал с тем материалом, который имел в наличии.

А вот я, как несомненное вокруг большинство, – колобок. И нет в том сраму, чтобы походить на большинство. Что такого? И без меня тут каждый из штанов выпрыгивает, чтобы не быть *как все*, чтобы выражение лица непременно иметь *необщее*. Такое, чтобы с другим не спутать. Все как один не желают быть *как все*. И что выходит? Смех и грех: уже только через это своё желание они, точно на параде, точно в шеренге на армейском плацу – как все. Пусть дурачок играет в эти игры. Есть собаки с врождённым нравом: хаски – добродушны, спаниели – ревнивы,

ягдтерьеры – бесстрашны. Так и люди – они тоже рождаются с характером, с чудинкой, с голосом внутри. И тут ничего не попишешь. Станешь натаскивать собаку поперёк натуры – поломаешь собаку. Попробуешь у человека исправить или воспитать характер – сломаешь человека.

Словом, я – колобок, а он, Емеля, – нет. Он другой. Он не рассказывает о себе истории. Истории рассказывают о нём.

И вот ещё.

Хоть я и сказал, что я – колобок, в виду я, разумеется, имел не форму, не телесность, не внешний облик, а способ предьявления себя другим. Нет, в смысле внешнем я совсем не колобок. Ни прежде, ни теперь. Хотя теперь и нагулял шесть лишних килограммов (две трёхлитровых банки сала, как некоторые измеряют). И тем не менее я в хорошей форме – подтянут, бодр, не на диете, интересуюсь женщинами и лёгок на подъём. Надеюсь, дела мои ещё не скоро накроются бордовой шляпой. А шесть килограммов назад – и вовсе был неотразим.

Да, так и есть – ценю себя, и в этом тоже не вижу срама. Ценю – но не гусак надутый, не самовлюблённое растение нарцисс. Без перебора. Просто жить хочется смертельно. Такой вот – ни хороший, ни плохой, не идеал и не обсевок в поле. Видел как-то в телевизоре выступление возрастного женского хора под названием «Ещё не вечер». Это про меня.

* * *

Хотел сразу начать рассказ о нём, о Емеле, но вопреки замыслу начал с себя. Поэтому решил, что следует ещё чуть-чуть добавить – для, так сказать, завершения пейзажа.

В пять лет я был чистейшее создание. И в шесть. И в семь... Падение случилось в девять. Произошло это прискорбное событие в Доме культуры Ленсовета, на новогодней ёлке. Нет – вовсе не Баба-яга, и не Снегурочка, и не рыжая пройдоха Лисичка-сестричка... Снежинки – эти бестии с преступно стройными, затянутыми в белые колготки ножками, нарушили моё безгрешие, мою кристальную невинность. Глядя, как они в своих воздушных пачках-юбочках порхают по сцене, я в первый раз почувствовал, что вождедею. О ужас! Это был удар, которого я никак не ждал. Удар, прерывающий дыхание. Так нас настигает пугающее откровение об истинном устройстве мира – о смерти, о равнодушии к тебе непостижимой и ужасающей вселенной. Откровение о том, что центр мироздания – не ты. Это как падение с велосипеда на раму пахом. Снежинки – вот исчадия и соблазн для детских хрустальных душ!

С тех пор я – тот, кто есть. С тех пор мир для меня во все стороны из года в год пропитывался эротизмом. Что говорить о женщинах? Непостижимым образом я находил sex арреал, чувственность, воспалывшую фантазию, повсюду – то в облаке, то в поезде метро, несущемся в тоннель, то в шевелении кустов, то в пышнобёдрой вазе на столе, то в музыке, то в закате... Да, и в закате тоже! Помнится, стихи даже сочинил по случаю (в юности было дело – пиитствовал, кто без греха):

Густой и вязкой массой света
Закат стекал по небу вниз.
На мягком животе планеты
Посевы Бога растеклись.

Думаю, для довершения пейзажа достаточно.

С Емельяном (выше про Емелю сказал не для словца, так именно знакомые его зовут: он, как и колобок, – из сказки, Красоткин Емельян) мы знакомы с университетской лавки. Учились на одном курсе истфака. Он был иногородний – то ли из Луги, то ли из Тихвина, а может, из Ивангорода – и жил поначалу в общежитии, куда я часто навещался в поисках веселья и альковных авантур. Тамошние обитательницы в большинстве своём только-только освободились от опеки родителей, забивавших бедных деточек по шляпку в доску своими советами и поучениями. И теперь деточки желанной взрослостью спешили насладиться – не слишком задаваясь проблемами морали, поскольку ещё не ощутили её закон внутри своих томящихся сердец. Да и бес не дремал, подрывая рылом устои нравственности, – то, что вчера казалось совершенно недопустимым, сегодня подавалось со всех углов как добродетель. С теми, кто рано ускользает от родительской опеки, обретенная свобода часто шутит опасные шутки, поскольку, не найдя ещё опоры, свобода эта не может устоять перед соблазном тёмной вседозволенности. Всем известен этот беспечный юношеский промискуитет – профессором не надо быть. (Профессор прелестей – сейчас подумал – есть ведь и такие...)

Подробно, однако, об этом не буду – это ведь у импотента все мечты только о девушках и причиндале до колена. Нам с ним не по пути. Скажу лишь о двух розанчиках, запомнившихся лучше прочих.

Есть такой южнорусский тип: русые или соломенные волосы (не чёрные, только не чёрные – это другое), серо-зелёные глаза, мягкие покатые черты и гладкая, чистая, смугловатая кожа, которая будто подсвечена изнутри тёплым светом – словно тронутый лёгким загаром опал. Таков её портрет, увы, ныне безымянный (не помню имя). Волосы помню – соломенные. И этот чудный поворот головы и шеи – тоже помню. А имя – нет.

Мы бражничали в студенческой компании в одной из комнат этого беспутного вертепа (общежития), где окна были такие грязные, будто не мылись со времён потопа. Представлены мы не были, я видел эту гурию впервые. С какого курса? Что за факультет? Да какая разница! Она была без кавалера – бесконвойной. В крови горело вино, я кидал в её сторону обжигающие взгляды и – да, она плавно, с этим вот бесподобным поворотом головы, смотрела тоже с интересом. В процессе перегруппировок (люди приходили и уходили, вставали и вновь садились за стол) мы оказались рядом. Все знают – в отношениях полов есть грани, преодоление которых невозвратно, за теми рубежами бурлят энергии, которые сильнее нас. Жизнь, в принципе, гораздо проще, чем принято об этом говорить, но в простоте своей – разнообразна. И счастье, прошу простить за прописи, – в простом, не в сложном. Несколько слов, улыбок, бережных касаний – и проскочила искра. Да, ты дал понять, что женственность её тебя пленила, околдовала, что она желанна – тут редко кто из дев останется равнодушной и не откликнется на зов. «Ты куришь?» – спросила она, играя сигаретой. «Нет, – ответил. – Я все силы без остатка отдаю вину». Шутку приняла благосклонно. Но это ничего ещё не значило – на этой стадии легко и заднюю врубить. А вот когда наши пальцы сомкнулись и наши губы познакомились – тут уже конец. Мы словно бы очутились на обледеневшей крыше и заскользили в пропасть оба. И здесь уж всё – не уцепиться, не спастись. Вокруг только звонкий и рассыпчатый

соловьиный щёкот. Падение неизбежно, какие бы ни имелись обязательства перед другой или другим.

Что добавить? Ночью она проявляла фантазии, но не назойливо, и умела скрашивать паузы отвлекающими пустяками, а утром умудрялась быть озорной и ничего не помнящей. В такую можно и влюбиться. Да, собственно, я и был немножечко влюблён.

Что ещё? Однажды я застал её плачущей у телевизора. На экране мелькало нечто научно-познавательное, приглашающее заглянуть в область тайн природы и загадок бытия – что-то из цикла «ребятам о зверятах». «Представляешь, ежата... – всхлипнула она. – Какие они... какие крошки. Я раньше думала: ну как же, как же они, как же... А тут... Вообрази – рождаются с мягкими иголками...» По щекам её текли слёзы умиления.

Вторая была старше, лет двадцати двух. Ушла с третьего курса геофака в академку, но продолжала жить в комнате с подругой нелегально, таясь от строгой комендантши. Родом она была из валдайской глубинки, с крестьянскими корнями, что сказывалось в её деловитости и хватке. Её звали Тамарой – запомнил, потому что другой Тамары за всю жизнь не знал, – волосы она выбеливала перекисью, и ногти её, всюду, где были, покрывал фиолетовый лак. Она вела свой скромный бизнес – возила на продажу шубы, которыми на Троицком вещевом рынке (такого нет уже) торговала её напарница, державшая там палатку. Середина девяностых, «челноки» с огромными непромокаемыми клетчатými сумками – я об этом. Европа тогда уже голосовала размягчёнными извилинами за близкородственные отношения с природой и по идеологическим соображениям отдавала предпочтение химическому меху перед норкой и куницей. В России же по-прежнему была сильна инерция традиции и натуральные меха носили без стыда. Челночной торговлей в ту пору занимались многие. Кто-то возил из Польши косметику и палёные ликёры, кто-то из Китая фальшивые кроссовки «адидас». Тамара возила тугие клетчатые сумки с шубами то ли из Турции, то ли из Греции, то ли из Хорватии – словом, из какой-то средиземноморской страны, где знают толк в морозах, вьюгах и пушных нарядах.

Она отлично разбиралась в изнаночных скорняжных швах, и у неё был строгий график поездок. Она вообще старалась держаться заведённого порядка и чёткой последовательности действий как в области предпринимательства, так и в личной жизни. Скажем, стоило нам добраться до кровати, как она первым делом неизменно предъявляла мастерство своего сильного свежего рта, а мне в это время большим пальцем ноги следовало совершать осторожное проникновение в её *внутренний мир*, что воодушевляло мою меховщицу необычайно. Но если я, например, говорил ей: «Томка, ты мне вчера приснилась. Приснилась, и я проснулся как последний идиот – счастливым», на её лице тут же проступало замешательство – она терялась, в её голове начиналась сложная работа. Дело в том, что все прежние Тамарины мужчины, похоже, были под стать ей и её коммерческим запросам – циничны и расчётливы. Им нельзя было верить, их нужно было ждать, их следовало добиваться, и чем сложнее это давалось, тем слаще была награда: любовь – крапива стрекучая. А я? Полагаю, я выпадал из ряда её прежних и вообще из её вселенной товарно-денежных взаимосвязей – ей представлялось, что я жажду не только её тела, но и души (хотя про сон – это не о душе совсем). А душой, надёжно прикрытой симпатичным лицом, она была не

готова делиться. Потому что этим она ни разу прежде не делилась, а стало быть, не знала рыночной цены товара и с врождённой крестьянской подозрительностью боялась продешевить. Должен признаться, мне было хорошо с ней, я чувствовал исходящее от неё заботливое тепло. Но это ничего не значило. Рядом с батареей парового отопления тоже не холодно, но жениться на ней никому не приходит в голову.

Обе истории длились недолго, стояли в очереди других (а что делать, если я такой обаятельный?) и рассказаны лишь для того, чтобы понять дальнейшее.

* * *

Теперь вернёмся к Емельяну.

Однажды в университете Красоткин доверительно сказал мне, что по неосторожности подцепил кое-какую стыдную хворь. Я посочувствовал, и даже искренне, но он искал не сочувствия – нет, не сочувствия. Какой прок в сочувствии при подобных обстоятельствах? Он искал помощи, и я, по его мнению, мог по-товарищески прийти ему на выручку. Просьба заключалась в следующем: я окажу неоценимую услугу, если предоставлю ему ненадолго свой паспорт, чтобы он, Емеля, смог отправиться в мой районный КВД, записаться на приём к врачу и осуществить курс лечения. (Тогда такой порядок был, а о платной анонимной помощи в те времена не слыхивали слыхом.) В противном случае, мол, ему придётся обращаться по месту прописки (Луга? Тихвин? Ивангород?), а тут – сессия, пропустить никак нельзя. Ну что ж, бывает. Мы не звери – я вошёл в положение и паспорт дал. Он через пару дней вернул.

Не знаю, стоит ли говорить, что он меня подлейшим образом подставил? Скажу.

Я позабыл уже об этой чепухе, когда примерно через месяц нашёл в почтовом ящике уведомление: в такой-то срок явиться в КВД. Хорошо в тот день почтовый ящик проверил я, а не отец – у отца был суровый нрав, и тяжёлой сцены родительского изумления (вот до чего дошло! в кого такой ты уродился?!) было бы тогда не избежать. Понятное дело, я не желал ни огласки (событие не из тех, какие колобки выставляют напоказ), ни повторных извещений. Я пошёл.

Всё разъяснилось быстро. Оказывается, я был в диспансере (не я – Красоткин), где признался, что подцепил, что грешил самолечением и вроде бы управился с недугом. Однако, как сознательный элемент, полагаю, что надо удостовериться в полной победе над нехорошим и, увы, успевшим проявить себя процессом. У меня (не у меня, у Емельяна) взяли мазок, сделали анализ, инфекции не обнаружили, но прописали полный цикл лечения – болезнь могла спуститься вглубь, укрыться в недрах организма, укорениться и оттуда прорости вновь, грозя опасностью мне и тем, ну... кому – понятно. На процедуры я не пришёл (не я, уже понятно всем), поэтому, выждав время, меня (теперь, действительно, меня) и вызвали уведомлением.

Что дальше? Требовали указать имя и адрес предполагаемой разносчицы заразы, а также имена и контакты тех, с кем имел близость после. Ничего не оставалось, как солгать о случайной связи на панели – а так, мол, я анахорет. Потом мне две недели ставили уколы в ягодицу (больно), брали мазки, засовывали металлическую трубку (чертовски неприятно) в уретру... Словом, пришлось пройти через непростительные унижения. Сорвись я, сбегу – дело бы завершилось принудительными

мерами. То есть я – здоровый – лечился взамен того, кто действительно был болен. Впрочем, последнее не очевидно. (Теперь уверен: всё – спектакль, обман.)

Законно ли моё негодование? Нет сомнений. Я был демон мести. Я был буря.

Попробовал отыскать мерзавца. Но сессия закончилась, народ из обещания разъехался. Собственно, Красоткин туда больше не вернулся – жил в дальнейшем, перебираясь с одной на другую, по съёмным берлогам. Да и я потерял отчего-то вкус к охоте в тех угодьях. Но это всё потом уже...

В тяжёлом гневе я был долго. Весь кипел. Потом немного поостыл – шприцы и трубки остались в прошлом, осадок нехороший таял. Стал рассуждать, шевеля охладевшими извилинами: за что?

Да, за что? Он, Емеля, жил в том месте, где я искал весёлых развлечений. Искал открыто, не таясь и даже бравируя амурными интрижками. Он всё видел. Возможно, молча осуждал. Ведь я вносил в его дом... Что? Грязь? Не соглашусь. Но и чистотой это назвать никак нельзя. Только болван и пустомеля станет утверждать, что любовь всегда права – пусть даже устремления её чисты (а чисты ли были мои?), но и из самой белой глины можно слепить отъявленную непристойность. Быть может, он хотел таким вот вероломным способом меня наставить и предупредить о будущих последствиях моей неизбирательности? (Хотя это неверно – я выбирал и вовсе не согласен был пленяться женственностью там, где её не находил.) Может, он так ломал меня, поскольку эмоциональная окраска его мысли обо мне имела вид брезгливой неприязни? Ломал, как кобеля с не в меру озорным характером... То есть, как сам он думал, не ломал, а исправлял, облагораживал, будто болванку, заготовку – полуфабрикат творения. Возможно, он даже скорбел, горько сочувствуя тому пустому, суетному пути, который мог привести меня в беспутство и застенки диспансера. Не знаю. Я не понимал. Ведь говорил уже: он был другим, не таким как большинство, как я. А стало быть, и соображал иначе.

Как соображал? Был каким? Позже я, кажется, понял: ему не хватало в жизни огня – обыденность казалась ему такой пресной и безвкусной, что за обеденным столом он, не снимая пробы, перчил харчо и досаливал в тарелке солёный огурец. Не то чтобы буквально – в фигуральном смысле. А ещё он хорошо умел хотеть. Не чушь какую-то из череды – шмотки, рубли, «порше», рабыня сексуальная, два пива, личные хоромы, – какую хочет всякий ювенал, а ого-го чего. Сказать по чести, он жаждал невозможного – чтобы его подвижному уму стало послушно мироздание. Но, разумеется, не сразу, а постепенно – в ногу с взрослением души. Недурно, да?

Однако я забежал вперёд. Вернёмся в предысторию.

Словом, гнев мой остыл и, когда мы наконец вновь встретились, я драться с ним не стал.

2. Пражский крысарик

Драться не стал, но – как встретились – сгрёб за грудки и чувствительно встряхнул. Емеля улыбнулся хорошо поставленной улыбкой – светлой, смущённой и доверчивой (она до сих пор при нём, и он её, когда потребуется, пускает в ход).

– Ну что, свинью подкинул – надо отвечать, – сурово сообщил, сгущая внутри себя грозу. – Скажешь, пошутил? Блеснул идиотизмом? Может, думаешь, честь моя невелика? Какая б ни была, не тебе над ней смеяться. Что зубы скалишь? Всё, кончились, дружок, потехи...

Ещё немного, и изнутри меня наружу молнией бы полыхнул разряд.

– Где ж тут идиотизм? – Высвободиться Красоткин не пытался, но и страха не было в его глазах. – Идиотизм – это реклама обувного магазина: «Готовы вас обуть». Видел такую недавно на Большом проспекте Петроградской. У нас с тобой другая штука...

– Какая штука?

– Аттракцион: глазок в грядущее.

– Ты рака-то не заводи за камень! – Я всё пытался разбудить в себе злость, достойную этого слова: аргументы по большому счёту закончились – брал голосом.

– Да брось... Что прошлое ворошить? Ведь обошлось, всё на места вернулось. Зато в багаже – ясное представление о перспективе. То, что нас не убивает... и так далее.

– Кончай юлить! Свинью подкинул – должен почками ответить.

– Опять двадцать пять. Дались тебе эти свиньи. Скажи лучше, ты слышал что-нибудь о пражском крысарике? – спросил внезапно Емельян.

– Какого чёрта... – начал я, но порыв мой был уже наполовину обезврежен. Помните, у поэта: «Шла борона прямёхонько, да вдруг махнула в сторону – на камень зуб попал...» – Зачем бодягу эту замутил – не хочешь разъяснить? Не слышу!.. А?

– Видишь ли, Парис... – (Забыл сказать: зовут меня Александр, а кто-то (уж не он ли, не Емеля?) на факультете в Париса перекрестил – и прижилось...) – Ты понял, да? Там оказаться можно и при более печальных обстоятельствах... – Он снова улыбнулся. – Да ладно! Зачем о грустном?..

Я отпустил его ворот.

Читал когда-то, будто есть в голове у человека, как и у иных зверюшек, специальные нейроны – зеркальные. Они отвечают за копирование действий и чувств других. Мы смотрим на чужую радость – зеркальные нейроны пощипывают наши внутренние струны, и мы, улыбаясь, радуемся тоже. Смотрим на чужие мучения – и, сострадав, испытываем боль. Говорят, эти нейроны способствуют ускоренной адаптации детёнышей – так им передаётся опыт взрослых. Чушь! На самом деле они сдерживают в нас желание давить себе подобных, как вредных насекомых. Вот я – хотел ведь только что, а теперь не представлял, как мне Красоткина давить.

– Пойдём, – его взгляд излучал дружелюбие, – я знаю место, где смешивают потрясающий коктейль!

– Гад ты, Емеля... – Запал мой окончательно иссяк. – И чем же он хорош?

– Наутро ты ничего не помнишь. Зато тебя запомнят все. Осушим мировую? Угощаю!

Начало сентября. Совсем начало – летнее ещё, без красок осени. Мы стояли в аркаде галереи Новобиржевого гостиного двора, нарисованного архитектором Кваренги, где размещались исторический и философский факультеты, – ни злости, ни возмущения не было во мне. Улыбка и слова Емели их слизали, словно корова языком.

И мы пошли – скверами, дворами, переулками... Точнее – он повёл.

Я знал, конечно, это заведение, скрытое на задах Кадетской линии, и не раз тут бывал. Снаружи по стене вился плющ, довольно редкий в Петербурге и потому глаз радующий, желанный. Стойка и окна в окопном стиле были задрапированы камуфляжной сеткой, рядом с бутылками на полках помещались макеты танков, самоходок и бронетранспортёров с таинственными опознавательными знаками, между ними россыпью и поодиночке стояли раскрашенные оловянные солдатики неизвестных армий. Кто же с исторического или философского не ведал про кабачок «Блиндаж»? Только зубрила и беспросветный олух. Впрочем, природа этой уверенности мне самому понятна не вполне. Что знал я о других?

Пожалуй, это было одно из немногих мест, где я при всей своей предрасположенности не находил ровным счётом никакого эротизма. Даже если за соседним столиком сидела Вечная Женственность, её словно бы тоже скрывала от меня незримая маскировочная сеть. Так скрывала, что не распознать ни по взгляду, ни по лодыжке, ни по узенькой пятке. И то правда – откуда в окопе женственность?

Обычно, если нелёгкая заносила сюда, заказывал пиво или что-то крепкое – коктейли мне тут не смешивали никогда. Красоткин пошептался с владыкой барной стойки.

– Увы, – сказал, ко мне вернувшись, – сегодня не все ингредиенты есть в наличии. Коктейль отменяется. – И добавил со значением: – Зато есть коковка. Я заказал.

Как выяснилось, коковка – настойка листьев коки на водке. Они, листья эти, в Боливии, в Перу доступны повсеместно и даже рекомендованы к употреблению в условиях высокогорья (мате-де-кока). Для мобилизации организма на случай гипоксии. В «Блиндаж» тянулся перуанский след – кто-то из друзей заведения привёз этих листьев изрядное количество.

Жидкость в графине имела прозрачный зеленовато-охристый оттенок и травяной вкус – лёгкий и приятный.

– А кто такой... ну, этот... пражский крысик? – поинтересовался я после второй.

– Крысарик? – Емельян крутил в пальцах пустую стопку. – Забавная история... Это такая мелкая собачка. Иначе – ратлик. Малыш спасал Прагу от нашествия крыс в прекрасное Средневековье. Знаешь ведь эту притчу?

– Какую?

– Ну, ту придурь, что соседствовала в Европе с пламенеющей готикой. Чернокнижие, ведовство... Невероятно! Если обобщить их так, как обобщают нас они, то... Можно сказать: всех красивых женщин и кошек считали по той поре пособницами дьявола.

Действительно – как будто было дело... У нас повсюду медведи пляшут, у них везде костры чадят.

– Фондагиагиты, – продолжал Емеля, – альбигойская ересь, ведьмобесие и всё такое... Вот и докатились – ввиду падения стараниями святой инквизиции поголовья не только прелестных ведьм, но и кошек пражский крысарик делал кошачью работу. Благо сам был с крысу ростом.

– Действительно, забавно... – Я решил на будущее крысарика заимствовать – девушки любят мягкие игрушки и всякие про них истории.

– Ещё его, благодаря размеру, держали в кармане рядом с кошельком – для рыночных воров отличный реприманд*. – Красоткин помолчал, словно бы ожидая с моей стороны вопроса или реплики, однако не дождался, а может, и не ждал – просто расслабился, наслаждаясь мгновением юности. – Но пражский крысарик – только подводка к теме.

– Какой?

– Высокой. К теме красоты. – Он просиял. – Ведь культ прекрасной дамы возник в Европе исключительно ввиду катастрофического дефицита э-э... скажем так, женского пригожества. А у нехватки этой, как и у минуты славы крысарика, одна причина. О которой уже сказал.

Мимо мелькнул владыка стойки, держа в одной руке салат «Мимоза», а в другой – железный букет из вилки, ложки и ножа.

* * *

Далее Емеля некоторое время рассуждал о странной двойственности европейского Средневековья, отдавшего предпочтение холодной красоте вещей, а красоту телесную назначив инструментом дьявола. Телесная была грешна уже только потому, что побуждала к грешной любви, а преображение её, грешной, во что-то высокое, приподнимающее человека над юдолью, никак не допускалось. Воюя с гностицизмом, Европа отравилась им, пустила заразу в свою кровь. Как яблоко-падалица – ударилось бочком о сыру-землю и с краю этого подгнило, само обратилось в землю. Ведь именно гностическая ересь отвергала возможность преображения любви – от плоти к духу. В их вселенной – вселенной гностиков, – где противостоят друг другу Бог и дьявол, свет и тьма, добро и зло, небо и земля, любовь таит в себе великий сатанинский умысел – продлить бытие во плоти, – так говорил Емеля. В целях противодействия нечистому, по их учению, человеку следует воздержаться от брака, от удовольствий любви и рождения детей, чтобы божественная сила не могла и дальше в череде поколений оставаться пленённой – заключённой в материи. У них торжество Эроса означает победу смерти, а не бессмертия, отчего любовь со всей очевидностью попадает в разряд самых тяжких грехов. Этот гностический идеал не имеет ничего общего с христианским, однако же именно он возобладал в умах христианских борцов с ним.

– Вот прохвосты! – не сдержался я.

– *Graecia capta ferum victorem cepit*, – блеснул Емеля латынью. – Греция, взятая в плен, победителей диких пленила. Из послания Горация. – Он наморщил лоб. – Книга вторая, послание первое.

Не помню, чтобы это нам преподавали. Должно быть, Горация Красоткин штудировал факультативно.

Между тем коковка давала себя знать.

– Странно, что они там доросли до готики, – возбудившись, высказал я о прохвостах категорическое мнение.

– Готика их спасла, – возразил Емеля. – Ведь искусство отчасти компенсирует роковую непригодность мира для счастья. – Он почесал переносицу. – Теперь искусство у них отцвело, дало плоды и даже немножко умерло.

– Давай договоримся, – предложил я. – Ну его к бесу, этот высокий стиль.

* Здесь: неожиданность, сюрприз.

– Почему? – Красоткин поднял бровь.

– Потому что на ощупь обнажённые женщины очень напоминают голых баб. – И добавил, чтобы прояснить мысль: – Если хочешь быть счастливым, ешь картошку с черносливом.

Полагаю, он почувствовал, что мы при всём своём несходстве (то есть благодаря ему) недурно друг друга дополняем... (Подумал вдруг: а я не обольщаюсь? Вполне возможно, он чувствовал себя полным и без меня. Полным и самодостаточным. Ведь именно самодостаточность – залог стабильности, а значит, и успеха.)

– Наблюдение верное. – Емеля взял графин. – Но те, кто с тобой согласится, сделают это от недостатка воображения. – Он следил за прозрачной зеленоватой струёй. – А люди без воображения – мелкие мошенники в мире большой красоты.

И он поведал, что вчера, гуляя по городу, наблюдал, как на канале Грибоедова опиливают тополя, оставляя от мощно зеленеющих деревьев искалеченные корявые столбы с короткими культяпками, возле которых на земле в преступном небрежении валялись ещё недавно живые ветви в их цветном наряде. Искалеченные исполины выглядели как античные статуи, варварски лишённые конечностей. Но и не только это... Тут и дома... некогда блиставшие фасадами, теперь увяли, заболели, пошли паршой, посыпалась слоями штукатурка и лепнина... (Напоминаю – середина девяностых, в ту пору мы были студенты.) Так вот, он говорил, что мучился, смотря на это, и страдал. Три раза проходил туда и три обратно. Смотрел, осознавал, в душе его копилась печаль и горечь... Пока вдруг его не озарило: мы ведь признаём и ценим античность даже в её развалинах, в ущербности, в безрукости, в её истерзанности. И очаровываемся домысливаемым совершенством, которое сумели разглядеть и в руине, поскольку само понятие о прекрасном никуда от нас не делось, оно живёт вместе с нами, в нас. Мы знаем, что с руками, ногами, удами, головами эти изваяния были бы ещё прекраснее, однако утраты мы в состоянии красоте простить, так как она, красота, там всё равно осталась – ею пропитан каждый львиный коготь, каждый изгиб, каждый локон, каждый угадываемый мраморный порыв. А что касается деревьев... Вот что он, Емельян, сказал:

– Они же по весне зазеленеют. Зазеленеют всё равно. Прошу простить мне мой мелкобуржуазный оптимизм. Ведь жизнь в них всё-таки осталась. А вокруг нас, в обступающей нас подлинности... в целом мире, ничего нет, кроме красоты. Той, которую мы видим, и той, которую пока не разглядели. Ничего другого – понимаешь? Ничего другого нет. И надо эту красоту, скрытую от взгляда, разглядеть...

Всё это, напоминаю, он говорил мне в то время, когда под нами рассыпалась страна, когда вокруг сгущался злой и бодрый мрак. В то время, когда мы очутились в какой-то исторической прорехе, в складке угасания, безвременья, в дурной дыре – там, где вокруг лишь пустота, засасывающая и разрастающаяся вокруг и в нас. (Откуда такой суровый тон? – теперь я изменился, стал другим, а в ту пору поначалу нам казалось, что падение – это чертовски весело.) Эта потерянности и ощущаемая обречённость жизни сеяли споры разрушения и задорного цинизма. Мы думали, что на поругание им отдаём лишь скверную часть нашего настоящего, но они, эти споры, прорастая и оплетая нас своей грибницей, забирали всё. А он, Емеля, за этой сумрачной дырой пытался увидеть красоту. И убеждал меня. И я поверил, что она там есть.

Впоследствии я не раз размышлял: чем он привлёк, чем обаял меня? Дело в том, что прежде мне не доводилось (или так скрывали, что не замечал) встречать людей, которых бы по-настоящему интересовало что-то, выходящее за границы их самих – их чувственности, их телесности. Я говорю не о профессиональном интересе астронома или ортодонта, а об интересе человеческом, идущем от искреннего переживания. Так вот, ему, Красоткину, было интересно. И неподдельный этот интерес в его глазах мерцал.

Вряд ли кто-то всерьёз поверит в реальность наших намерений – а между тем они были чистосердечны, – но в тот день в «Блиндаже» мы с Емелей договорились сделать мир по возможности пригодным для счастья. Хотя, пожалуй, каждый имел в виду немножечко своё. Но разве может быть иначе? У каждого, когда дело доходит до счастья, свой вкус и своя манера – кто любит арбуз, а кто офицера. Так уж заведено.

Осенние мухи кружили вокруг лампы и бессмысленно бились в белый потолок. Их маленькие крылатые тела, бесформенные в полёте, как стремительные кляксы, делали з-з-з, а шлёпаясь с разгона в штукатурку свода, барабанили тук-тук, как тихий карандаш о стол. Эта изнуряющая музыка никуда не годилась, но музыканты полагали иначе...

Мимо нашего столика проходила девушка – в походке её была красота движения, которая зовётся грацией. Впрочем, присущая месту незримая камуфляжная сеть, полагаю, скрывала от меня большую часть её достоинств. «Пойдёмте, сломаемся в танце», – предложил я, хотя в «Блиндаже» танцпола не было. «Нет», – отвергла меня холодно. «Вы замужем?» – спросил с пониманием. «Хуже», – ответила загадочно. Вот как они умеют это?.. Немыслимо!

Но умеют и по-другому. Подхваченный воспоминанием, я рассказал Емеле случившуюся со мной однажды историю знакомства, так сказать, вслепую. Звоню одной подружке (тогда телефоны были стационарные, на привязи – надо было звонить из дома или из будки – и цифры набирать вручную). Трубку берёт. Говорю: «Здравствуй, Оля». (Олей подружку звали.) А она: «Здравствуйте, только я не Оля». То есть – не она. Ошибся номером – бывает. А голос такой грудной, воркующий, сразу дающий образ создания нежного, мечтательного, с мягкими губами... Что делать – извинился. Собрался уже дать отбой, а тут она мне: «А что вы хотели предложить?» – «Кому?» – «Ну, той Оле, которой звонили». Редкая непосредственность. Мне понравилось. «Хотел предложить прогуляться, – а сам предвкушаю уже занимательный поворот. – Вместе вечер провести». – «А вы именно с ней хотели... вечер провести, или не обязательно?» – «Пожалуй, не обязательно». – «А может, я вместо неё?» – и в голосе такая трогательная надежда – не робкая, а так по-женски под робость сыгранная. Ты понимаешь? Как тут устоять! Встретиться договорились в Летнем саду у вазы. Пришла. Забавная девица – сама непринуждённость и раскованность – и всё, что нужно, у неё длинное: ресницы, ноги, воля... «И что вы дальше, – спрашивает, – собирались делать с той... ну, с Олей?» – «Мороженое съесть и хересу на Итальянской выпить». Одобрила. Съели, выпили. «А что потом? – говорит, глазами влажными стреляя. – Что потом хотели делать с Олей?» Представляешь? И так вот этим самым «что потом хотели делать с Олей?» меня пытала, пока до греха

не довела. Всю ночь проводила надо мной свои бесчеловечные опыты: «А так вы с Олей не делали? А вот так?» Целеустремлённость необычайная!..

– А что, разве не прекрасно было бы, если б наши желания подобным образом, как бы сами собой, сбывались? – Красоткин оживился, но посчитал нужным пояснить: – Я не о бабах. – И тут же: – Впрочем...

– Для этого надо бы в рай...

– погоди, – Емеля отмахнулся, – успеется... Мы что, в жизни уже всё устроили, как должно?

– О чём ты?

– Далеко ходить не надо. Взять заповеди, которые нам завещано блюсти... – Он коротко задумался. – Хватит даже одной. Вот этой: когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.

– И что? – Я не успевал за его мыслью – думал на других скоростях.

– Христианское богословие не отдало этому наказу должного. Толкование и вовсе никудышное: долой фарисейство и показуху! Стыд и срам. А речь, между прочим, ни много ни мало о пути достижения благодати – через творение добра тайно, через скрытую милость и незримое содействие. Здесь корень понимания божественного провидения! Надеюсь, ты не считаешь христианство дремучим мракобесием, достойным сегодня только насмешки и забвения? – Красоткин заглянул мне в глаза и, думаю, увидел там космос. – И правильно. Стало быть, если Христос заповедал вершить благо сокровенно, не напоказ, то разумно предположить, что и сам Он действовал точно так же. А что это значит?

– Самому интересно, – признался я. – Прямо исчезался весь.

– Это значит, что явленные Им чудеса и публичные благодеяния – лишь небольшая частица Его свершений! Основное – в тени. Но разве нам известно учение о тайных чудесах Христа?

– Куда только богословы смотрят... – Речь мне показалась интересной, хотя и отвлечённой от наших грешных будней. – Профукать такую тему... Впрочем, – припомнил я, – отдельные деяния святителей на этом поприще известны: Николай Чудотворец тайком подбросил золото трём бедным бесприданницам. Обнищавший отец собирался продать их в блудилище.

– Но тайну сохранить не удалось... – не то продолжил, не то возразил Емеля.

– Дважды вышло тайно, а вот на третий раз дал маху – засветился.

– Вывод: нельзя действовать по одной схеме. Шаблонить тут непозволительно.

– Возьмём лень за ремень...

– И вообще, что касается учения о тайных чудесах Христа – здесь открывается возможность постигнуть многие, так сказать, загадки бытия. Истолковать кое-какие тёмные его места. – Воодушевление Красоткина было заразительным. – Именно учение о скрытых благодеяниях Господа может дать к этому ключи. Ведь происходящее с нами выглядит разумным, если подходить к действительности с той меркой, что всё могло быть хуже... Могло. Но это худшее от нас отведено, мы от него избавлены. Избавлены именно волей незримого божественного чуда. С этого угла многое, что обычно считается делом рук дьявола, то есть искушение, соблазн или сама телесная смерть, видится всего лишь

посильным испытанием, которое милостиво предотвращает испытание невыносимое.

– Жаль, что это учение так и не дождалось своего создателя, – посоветовал я – Емеля был, конечно, молодец, но в моём представлении на богослова не тянул. – А мы-то что? Что мы устроить в жизни можем? Сам же сказал – надо бы устроить как должно...

– Да. Это правда. – Он уклоняться не желал. – Что касается скрытого блага как небесной истины, то поиски его ведутся из рук вон плохо. А вот идея тайного зла, напротив, является излюбленной для... как говорят философы, практического разума. Разоблачить тайное коварство, обнаружить подковёрные козни, вывести на чистую воду злой умысел – любимые у нас забавы. Никому и в голову не приходит задуматься: если зло все и повсеместно стараются выдать за благо, то кем нужно быть, чтобы прятать в тени благо истинное?

– И кем же?

Красоткин посмотрел на меня убийственно, испепеляя холодным огнём сочувствия.

– Богом, – сказал. – Или рыцарем тайного милосердия.

Я усомнился:

– Если уж христианство за всю свою историю не разродилось рыцарским или монашеским орденом такого рода, то...

– Почём нам знать, что такого ордена не существует?

– Как так?..

– Что это, скажи пожалуйста, за тайное милосердие, если тебе и мне о нём известно? Это ведь осечка – как у святителя Николая с третьей бесприданницей.

Я в уме прикинул и:

– Уел, – признался.

– Согласись, мир, которым в своих нехороших интересах коварно манипулируют масоны, атлантисты, аннунаки, рептилоиды и прочая мировая закулиса, – это уже порядком надоевшая пластинка.

– Да, шубка молью бита.

– А что если этой заезженной пластинке противопоставить свежую мелодию – такой порядок мира, где вовсе не тайное зло, а именно скрытое благо определяет ход вещей? Скрытое благо – понимаешь? Не только божественное, но и мирское...

– Постой... – В голове моей сверкнуло озарение. – Так ты подвёл меня под КВД, чтобы посильным испытанием спасти от больших бед? Чтоб честь не растерял? Чтоб не отдал кому попало поцелуя без любви?

Емеля, кажется, смутился. По крайней мере улыбнулся так же, как тогда, когда я его приподнял за грудки.

– Видишь ли, Парис... – Он старался подбирать слова. – Разбрызгайка по рюмкам.

Я разбрызгал.

– Человеку испорченному, не твёрдому в устоях нравственности, – продолжил он, – тоже стоит подать руку помощи. Но тут помощь должна иметь другие свойства... Содействие трудностями – так примерно. И это тоже будет в свой черёд благое дело. В такой форме оно, возможно, даже нужнее добра, так сказать, прямого действия. – Красоткин поворошил волосы на темени. – Да, с диспансером вышло не того... Согласен. Тут известен благодетель, причастный к содействию. А так быть не должно. Косяк. Это не тайное – это, скорее, бескорыстное добро...

Хотел сказать: «Скорее, зло бескорыстное». Но не успел. Потому что он тут же, без заминки, изложил мне свой импровизированный замысел, в котором, однако же, местами угадывались положения, определённо требовавшие предварительных раздумий. То есть, предполагаю, он размышлял о чём-то схожем и прежде, просто теперь мозаика окончательно сложилась.

* * *

Честная мать! Отец небесный! Оказывается, чтобы рыцарю нашего ордена, подвижнику скрытого блага, не оказаться разоблачённым и остаться незамеченным, следует свой путь хитросплетать и ухищрять не менее, чем ухищряет и хитросплетает свои пути поборник тайного зла! Ведь объекту заботы ни в коем случае не следует догадываться о том, что некто о нём печётся, иначе он, опекаемый, как пить дать отнесёт негаданную помощь на счёт своей избранности, а это, как известно, здорово вредит характеру.

Ведь люди таковы, что все так или иначе в предчувствиях своих готовы к скрытым пакостям от окружающих, а также другим злоумышлениям в свой адрес, даже немотивированным, и очень редко кто рассчитывает на безымянную доброжелательность. Понятно, когда кто-то, кому вы невзначай перешли дорогу, тайком подбрасывает под колёса вашей машины саморезы. Но чтобы кто-то из-под колёс вашей машины втихую саморезы убирал – это увольте. Не бывает! Нет, невероятно! Померещилось... Так вроде бы при первом взгляде кажется. Ведь мы ничего не знаем о тайном добре, заведомо и скрупулёзно творимом именно как добро и именно как тайное. Но если приглядеться к рутине повседневности с вниманием, настроив взгляд так, чтобы предмет интереса не проскользнул размытым облачком, а оказался в фокусе... то – вот и нет. Бывает! Есть и такое в жизни. Есть как принцип! Более того – скрытая предрасположенность кого-то к вам (или вас к кому-то) суть подвиг нравственного подражания Христу. А это – сила. И энергия этой силы на диво велика. За такой безымянной заботой, существующей в режиме неуловимого (или едва уловимого) миража, стоят незримые таинственные рыцари, которые и убирают из-под ваших колёс саморезы, а в случае нужды могут распространить свою заботу вширь, вдаль и вглубь, выбрав себе кого-то в подопечные для долгого возделывания, будто сортовой саженец, который в будущем чреват отменными плодами. Плодами не для них, но вообще... Для мира.

В чём их, этих призрачных благодетелей, этих рыцарей тайного милосердия, мотив, кроме подвига подражания Ему? Если кому-то вдруг покажется, что одного этого мало... Да в том уже хотя бы, что они будут наслаждаться своей незримостью! Счастьем тайного, доброго и справедливого властелина... А также своей причастностью к другим, столь же чудесным образом незримым. А эти другие – есть! Поскольку... не может их не быть! Хотя они, конечно, постоянно вызывают определённые вопросы в плане достоверности. Но так быть и должно – ведь они сознательно пребывают под завесой тайны.

Согласится ли современник, взыскивающий публичного мнения о себе (в мой огород камень), желающий стать королём молвы, болеющий за репутацию (неважно с каким знаком), быть обречённым в благих своих делах на анонимность? Сомнительно. Весьма сомнительно. И всё же. Если он сберёт детскую веру во Всевидящего... если сберёт детскую

душу (а христианство по сути – это вера детей и стремление сохранить детскость души), то – да, согласится. Поскольку знает, что его усилия и дела, не видимые окружающими, наверняка видит Тот, Всевидящий. Видит и воздаёт Своим судом.

Что ж, речь Емели звучала убедительно.

– Так, значит, другие о наших делах ничего не узнают? – уточнил я. – Не заподозрят в добре и никак о нас не подумают? Ни хорошо, ни плохо?

– Именно, – кивнул Емеля.

Это было против моих представлений. Решительно, навыверт... Ну, тех самых: дескать, человек – это то, что думают о нём другие. Поэтому, должно быть, и показалось мне заманчивым.

– Согласен, – согласился я. – Всемером и батьку бить легче. Когда выходим на тропу бескорыстного добра?

– Сперва договоримся о понятиях, – предупредил Красоткин. – Бескорыстное добро и скрытое благодеяние – разные цветочки. Говорил уже... Бескорыстное добро, как следует из его названия, отвергает лишь корыстное. То воздаяние, которое может быть выражено в деньгах... или какой-нибудь товарной форме. Но другая награда вполне приемлема – скажем, фимиам восхищения. Кроме того, в случае бескорыстного добра речь не идёт об отказе от авторства в отношении поступка. Наша тропа другая. Это совиная тропа.

– Почему совиная?

– Потому что у совы бесшумный полёт. – Емеля оказался натуралистом. – И ещё потому, что у совы нет никакой тропы.

– Теперь понятно.

Далее он пояснил, что тропа тайного благодеяния многого потребует от того, кто на неё ступил. Так что придётся поработать над собой. Зато она и многое дарует. Тому, кто идёт по ней. Она погружает в другое, давным-давно утраченное нами измерение. То измерение, что родственно пространству мистерии, горизонтам героического и жертвенного или сокровенному опыту веры. Потому что тропа тайного добра со всеми своими извивами и петлями – тоже не от мира сего. И она возвращает идущего по ней в то сверхчувственное состояние, которое некогда было присуще человеку и которое он потерял. Потерял и теперь тоскует по нему, толком не понимая причину своей тоски. Но на этой тропе чувства невольно вновь начинают обретать былую подлинность. Вот только для начала надо отбросить тиранию чужого мнения, погоню за успехом, жажду воздаяния и другие обольщения мира, склонившегося к ногам золотого тельца. Всё это придётся сделать, иначе ты просто не увидишь никакой тропы.

Примерно так.

* * *

Что там, в «Блиндаже», было дальше? Ещё не раз разбрызгали. Кажется, я изливал Красоткину беспутную душу. Всплывает фраза: «Понимаю: ты не мой духовник, но я всё равно не могу заткнуться и избавиться тебя от потока этих нелепых откровений...» Емеля слушал, время от времени уводя разговор в таинственные области (он всё же был отпетый конспиролог) – например, он был уверен, что в ответ на засланную атлантистами в 1908-м тунгусскую хлопущку, Россия в 1912-м ответила самонаводящейся ледышкой. Я упрямо возвращался к своим

баранам, то есть к овцам, и делился наблюдением, что белокожие снегурочки мигом краснеют от смущения, но краска быстро сходит с их щёк, как только отпадает надобность стыдиться...

Потом жидкость в очередном графине закончилась. К нам подошёл владыка стойки (по фамилии Овсянкин – выяснилось позже), таинственный, как теорема Ферма, – глаза его, подобно глазам хамелеона, смотрели в разные стороны. Час расплаты. Емеля, отсчитывая деньги (угощал), высунул от усердия язык, словно малыш, вырезающий из бумаги снежинку.

Итог? До этого дня мы были знакомы с Красоткиным верхами. После двух графинов коковки сошлись накоротке. На годы. Сговор между нами о мире, пригодном для счастья, – Фаустом себя не мню, – был заключён и, как ни странно, укоренился в памяти, свернувшись до поры, как сворачивается бычий цепень в кишке.

Потом вышли на улицу, где я тут же проглотил шального осеннего комара. Но вкус его остался неизведанным – минуя сосочки языка с их чувствительными почками, комар влетел прямо в горло. Вечерний воздух пах дождём, уже, хвала небесам, прошедшим. Под светом фонаря кирпич стены казался воспалённо-красным, будто ошпаренным, а лужи драгоценно блестели, словно напоказ.

Коковка воодушевляла отменно, пьяня и зовя в полёт. И сны дарила весёлые, гулкие, пенные, – словно газированные. После «Блиндажа» ночью я впервые упал во сне с кровати.